
Игорь Бруслов
Купцы Великого Ковчега
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+

Игорь Бруслов

Купцы Великого Ковчега

«Автор»
2026

Бруслов И. А.

Купцы Великого Ковчега / И. А. Бруслов — «Автор», 2026

2059 год. Человечество столкнулось с пиком топливного кризиса. Технологии есть, но реализовать их в производстве невозможно. Войны за ресурсы, голод и деградация спровоцировали выход на мировую политическую арену цивилизации сверхсуществ, доселе населявших энергетический план реальности (Купцы Великого Ковчега; оскорбительно — квекки).Квекки предложили людям новое сверхтопливо (среда), имеющее неиссякаемый объём и энергетическую ценность ядерной реакции. В обмен на это пришельцы получили контрольный пакет акций всех мировых корпораций и решающий голос в разрешении конфликтов.

© Бруслов И. А., 2026
© Автор, 2026

Купцы Великого Ковчега

Норен Зарм.

Раад толкнул дверь из своей квартиры — и сразу шагнул в лифт. Не нужно было брести по тёмному коридору, спотыкаясь о мусор и старые доски: кабина была пристроена прямо к его комнате, будто ктото вырезал кусок стены и вставил туда гладкий серебристый проём. Это было странно, но удобно — единственная привилегия этажа, где больше никто не жил.

Он на секунду задержался на пороге, привычным движением коснувшись шершавого края стены рядом с проёмом. Стены здесь держались не на арматуре и бетоне — они держались на памяти. На воспоминаниях об отце, который когдато чинил проводку в этом самом подъезде, на запахе маминых пирогов, давно забытом, но всё ещё будто прячущемся в трещинах штукатурки. И на образе Сеи — её тихий смех, её привычка поправлять прядь волос, когда она волновалась… Всё это было здесь, в этих стенах, как невидимый каркас, который не давал дому рухнуть.

Раад не любил общество людей — не потому, что презирал их, а потому, что слишком сильно по ним тосковал. Те, кто остался в городе, стали другими: резкими, грубыми, дикими от постоянной усталости и страха. Они смотрели на него так, будто любое проявление мягкости — это слабость, которую можно использовать. Он избегал лишних разговоров, старался не встречаться взглядом в очередях за пайками, не задерживаться у автоматов с водой. Но внутри всё равно ныло от одиночества — от того, как мало осталось тех, с кем можно было бы просто посидеть и помолчать, не боясь, что тебя неправильно поймут.

Внутри лифта пахло озоном и металлом. Капсула мягко качнулась, повинуясь невидимым гравитационным полям, и Раад привычно уставился на панель с цифрами. Он не смотрел в прозрачный бок кабины, где проплывали обшарпанные балконы и пустые окна, — не хотел видеть, как город смотрит на него в ответ.

Маршрут был выверен до метра: поворот у треснувшей арки, потом спуск по узкому рукаву, где вода доходила до щиколоток, потом вниз по короткой лестнице. На ступенях ктото когдато нацарапал старую фразу, полустёртую временем. Юноша не знал, кто её оставил и когда, но каждый раз пробегал по ней взглядом — как будто проверял, держится ли ещё этот город. Держится ли ещё он сам.

Канализация здесь была не просто трубами и коллекторами — она была картой выживания. Тоннели, выложенные старым кирпичом, хранили эхо прежних времён: гдето в кладке ещё угадывались маркировки, нанесенные рабочими сто лет назад, гдето на стыках плит оставались клейма старых заводов. Это был подземный город, параллельный тому, что наверху. И он казался Рааду честнее: здесь не притворялись, что всё в порядке, не вешали яркие экраны с обещаниями лучшего будущего. Здесь просто шли вперёд, стараясь не шуметь.

Раад замер у поворота, где узкий рукав коллектора сужался так, что приходилось идти боком. В темноте впереди что-то шевельнулось — не просто капля или отслоившийся кусок штукатурки, а движение с весом, с намерением. Он не стал включать фонарь: лишний свет здесь был как крик в тишине. Вместо этого он прижался к кирпичной стене, чувствуя ладонью, как холод пробирается сквозь ткань куртки, и прислушался.

Сначала послышалось дыхание — тяжёлое, влажное, будто воздух проходил через рваные лёгкие. Потом царапанье когтей по мокрому бетону: неторопливое, уверенное. Хищник не спешил. Он знал, что добыча никуда не денется. Раад вспомнил, как раньше в старом городском зоопарке смотритель рассказывал ему про повадки волков: «Они не бросаются сразу. Они заставляют тебя поверить, что ты один, а потом делают шаг из темноты». Тогда в этих словах была почти поэзия — про терпение, про расчёт, про красоту хищной логики. Сейчас от той красоты ничего не осталось. Остались только голод и привычка убивать.

Когда тень скользнула ближе, юноша наконец увидел её очертания: широкая грудь, низко посаженная голова, глаза, в которых отражался тусклый свет далёких фонарей. Это было не то животное, которое он помнил по детству. Не волк и не собака, а что-то, собранное из осколков разных зверей: слишком длинные лапы, слишком острые углы, будто сама эволюция здесь работала не на выживание, а на эффективность убийства.

Раад не шевелился. Он не хотел быть добычей, но и не хотел быть убийцей. И, возможно, зверь это почувствовал. Он ещё раз принюхался, фыркнул, будто разочарованно, и скользнул в темноту, растворившись в тенях так же бесшумно, как и появился.

По дороге он всё думал об этом мгновении — о том, как зверь остановился, будто на секунду увидел в нём не еду, а кого-то, кто тоже просто пытается выжить. И от этого становилось не легче, а как-то тяжелее: потому что теперь он знал, что даже у хищников бывают моменты, когда они не хотят убивать. Просто мир стал таким, где выбора почти не остаётся.

Завод вырастал из земли не как здание — он будто прорастал, сплетая в себе то, что построили люди, и то, что принесли квекки. Снаружи это походило на промышленную громаду из бетона и стальных ферм — привычные каркасы, остатки старой инженерии, будто город пытался удержать здесь хоть каплю прежней логики. Но стоило подойти ближе, и становилось ясно: завод давно перестал быть просто заводом. Сквозь трещины в бетоне проступало чужое. Огромные стеклянные колбы, похожие на гигантские сосуды, тянулись вверх, словно деревья из прозрачного льда. Внутри них медленно перетекала мутная субстанция — инородное топливо, которое квекки называли «средой». В некоторых колбах виднелись тонкие прожилки, напоминающие вены, а в других — тёмные сгустки, пульсирующие в такт невидимому ритму. Эти колбы не были просто ёмкостями: они были частью живого механизма, в котором стекло, металл и органика срослись в единую систему.

Но самым странным были вкрапления живой плоти. Квекки, существа, лишённые телесности, питали извращённое восхищение плотью — они собирали её, сохраняли, встраивали в свои технологии, будто пытаясь понять, как работает материя, которую сами не могли ощутить. То тут, то там в конструкции завода виднелись полупрозрачные мембраны, натянутые между балками, словно гигантские сухожилия. В иных местах плоть была оформлена в виде тонких пластин, покрывающих стыки труб, — они мерцали тусклым перламутровым светом и слегка подрагивали от вибраций установок.

А в центре комплекса, над главным реакторным узлом, висел огромный органический узел, похожий на сросшиеся сердца: он не бился, но в нём чувствовалось присутствие — будто сама машина дышала.

Раад знал: квекки не просто использовали плоть как материал. Они превращали её в интерфейс. Эти мембраны реагировали на колебания среды, эти пластины служили фильтрами, а пульсирующие узлы — регуляторами давления. Для пришельцев плоть была не слабостью, а совершенным инструментом, и они довели её применение до изощрённой точности.

На выходе из коллектора стояли такие же, как он, — рабочие со смены. Они собирались небольшими группами, но в этих группах не было ни разговоров, ни смеха, ни даже обычного ворчания на погоду. Только усталые взгляды, пустые глаза, плечи, согнутые не от ветра, а от привычки быть незаметными.

Кто-то потирал шею, будто пытался стереть с себя ощущение чужого взгляда. Кто-то машинально отряхивал куртку от влаги и пыли, хотя это не помогало: сырость здесь въедалась в ткань, в кожу, в кости. Они были кроткими и покорными не от доброты, а от усталости — от того, что любое сопротивление теперь стоило слишком дорого.

Раад влился в этот поток, стараясь не выделяться. Он знал: здесь нельзя смотреть слишком прямо, нельзя слишком резко двигаться, нельзя показывать, что у тебя есть хоть капля гордости. Гордость тут быстро превращалась в проблему.

Проходная была устроена так, чтобы напоминать о подчинении: низкие арки, узкие коридоры, где люди шли гуськом, и повсюду — камеры, датчики, холодные взгляды наместников чужаков. Эти надсмотрщики не были людьми с завода — они были представителями квекков, их длинной рукой, которая держала город в узде. В их движениях не было суеты, только расчётливая жестокость: они знали, где нажать, где уколоть, где сломать, не оставляя следов.

Среди них, как всегда, был Норен Зарм.

Он стоял у рамки досмотра, чуть расставив ноги, с лёгкой ухмылкой, будто сам воздух здесь принадлежал ему. Его форма сидела идеально, будто она была не униформой, а доспехом. В глазах — скука и азарт одновременно: скука от рутины, азарт от возможности унизить. Норен любил мелкие унижения: заставить человека вывернуть карманы лишний раз, задержать на рамке, пока индикатор пищит без причины, заставить повторить имя, должность, номер пропуска — три раза, медленно, глядя прямо в глаза.

Сегодня он заметил Раада сразу. И, как всегда, его взгляд на секунду задержался чуть дольше, чем нужно. В этом взгляде было и предупреждение, и вызов: «Я здесь. Я помню. И я могу».

Раад шагнул к рамке. Он не опустил глаз, но и не смотрел прямо в лицо Норену — смотрел чуть выше плеча, на датчик над головой. Это был баланс, которому он научился: не покорность, но и не вызов.

Пропуск, — бросил Норен, даже не глядя на экран сканера. Он уже знал, кто перед ним.

Раад приложил карточку. На панели коротко мигнул зелёный.

— Руки на рамку. Развернись.

Раад выполнил всё, что требовали. Его пальцы коснулись холодного металла, ладони легли на шершавые пластины датчиков. Машина тихо загудела, сканируя, проверяя, оценивая.

Норен сделал шаг ближе, будто проверяя, дрогнут ли у Раада плечи.

Что-то ты сегодня тихий, Раад, — протянул он. — Или просто устал? Слышал, в тоннелях опять кто-то пропал. Может, тебе стоит быть осторожнее. Или, может, ты знаешь, где он?

Раад не ответил. Он знал эту игру. Норен не искал правды — он искал реакцию. Любой срыв, любая вспышка гнева были бы поводом. Поводом задержать, оштрафовать, перевести на более опасную линию. А может, и просто поводом сделать так, чтобы следующий спуск в тоннель стал последним.

Всё чисто, — сухо сказал техник у пульта, не поднимая глаз.

Норен на секунду нахмурился, будто сам факт того, что Раад прошёл проверку, был личным оскорблением. Но он не мог ничего сделать. Младый Раад был ценным специалистом — одним из немногих, кто мог работать с инородным топливом без сбоев, кто чувствовал нестабильность среды раньше, чем её показывали датчики. Квекки ценили эту способность, и это было единственным щитом Раада. Щитом тонким, но пока ещё державшимся.

Иди, — буркнул Норен, отворачиваясь, будто потерял интерес. Но Раад знал: это притворство. Норен боялся его. Не потому, что Раад был сильнее или опаснее — а потому, что он знал. Знал, что Норен повинен в смерти Сеи. Знал, как это случилось, какие приказы он отдал, какие протоколы нарушил, чтобы всё выглядело как несчастный случай. И Норен знал, что Раад знает. И этот молчаливый обмен знанием был страшнее любой драки.

……

Раад шёл по цеховому коридору, и с каждым шагом его всё сильнее давило дурное предчувствие — не как тревога от плохой смены, а как холод, ползущий по позвоночнику, будто воздух здесь уже знал, что случится, и просто ждал, когда Раад это поймёт.

Вокруг сплетались металл и живая плоть в противоестественной, тошнотворной гармонии. По стенам тянулись «мясные панели» — рабочие интерфейсы квекков: полупрозрачные пласты живой ткани, натянутые на стальные рамы. В них пульсировали тонкие прожилки, похожие на вены, а местами поверхность была усеяна мелкими, почти незаметными реснич-

ками, которые подрагивали от вибраций цеха. К этим панелям крепились стеклянные перегонные кубы — огромные колбы, внутри которых медленно перетекала мутная субстанция . Некоторые кубы были соединены с панелями тонкими трубками, по которым двигались капли среды, будто кровь по капиллярам. В местах стыков металл был покрыт тонким слоем органики — полупрозрачной плёнкой, которая мерцала тусклым перламутровым светом и слегка подрагивала при каждом гуле установок.

Всё это выглядело не как технология, а как чудовищный организм, собранный из кусков: здесь стекло не защищало, а служило оболочкой; металл не держал конструкцию, а был каркасом для живой ткани; а сама плоть работала как схема, как проводка, как фильтр. И от этого сочетания холодного инженерного расчёта и живой, дышащей мерзости становилось особенно не по себе. Раад уже почти дошёл до своего поста, когда услышал резкие голоса впереди. Он свернул за угол и увидел сцену, от которой у него на секунду остановилось сердце. Девушка лет семнадцати стояла, прижавшись спиной к мясной панели, а двое надсмотрщиков нависали над ней, выкрикивая ругательства. Её запястье было зажато: серебряный медальон, висевший на тонкой цепочке, зацепился за один из живых сенсоров — за выступающий узел на поверхности панели. Сенсор был испорчен: он дёргался, пульсировал неестественно быстро, и по его поверхности расходились тёмные пятна, будто ткань гнила прямо на глазах.

Это серебро! — рявкнул один из надсмотрщиков, тыча пальцем в медальон. — Ты знаешь, что это запрещено? Система на проходных его не видит! Ты специально сломала интерфейс!

Второй уже замахнулся, чтобы ударить её по лицу. В этот миг Раад увидел не просто испуганную девушку. Он увидел свою Сею — ту самую, прежнюю Сею, с её привычкой поправлять прядь волос, когда она волновалась, с её тихим смехом, который теперь жил только в его памяти. Девушка была похожа на неё не чертами, а чем-то неуловимым: тем, как она застыла, будто пыталась стать меньше, незаметнее; тем, как в её глазах мелькнул не столько страх, сколько горькое понимание, что никто не вступится. Не думая, Раад шагнул вперёд и выкрикнул:

— Стойте! Это не она сломала сенсор! Он уже был повреждён!

Надсмотрщики резко повернулись к нему. Тот, что замахнулся, опустил руку и прищурился.

— А, специалист Младый Раад. Решил поиграть в защитника? Может, тебе тоже нравится нарушать правила? Может, у тебя тоже есть что-то запрещённое?

Раад не отступил. Он подошёл ближе, стараясь держаться спокойно, но внутри всё кипело.

— Сенсор вышел из строя ещё до того, как она к нему прикоснулась. Посмотрите на пульсацию — она неритмичная. И пятна некроза уже пошли. Это деградация ткани. Я могу снять медальон, не повредив панель. Дайте мне пять секунд.

Один из надсмотрщиков хмыкнул, но второй, более крупный, сделал шаг к Рааду и с силой толкнул его в грудь.

— Ты здесь не решаешь, что и когда чинить. Ты здесь работаешь. А она нарушила протокол. И будет наказана.

Он снова повернулся к девушке и замахнулся. Тогда Раад сделал то, чего не должен был: он рванулся вперёд, схватил надсмотрщика за руку и резко дёрнул, сбивая удар.

— Нет! — выкрикнул он. — Она не виновата!

В ту же секунду второй надсмотрщик нанёс ему жестокий удар в бок — тяжёлый, рассчитанный, чтобы сбить дыхание. Раад пошатнулся, попытался удержаться, но нога скользнула по влажному полу, покрытому тонкой плёнкой конденсата, смешанного с каплями среды. Он потерял равновесие, взмахнул руками, пытаясь схватиться за что-нибудь, но вокруг была только чужая, живая поверхность — скользкая, пульсирующая, чуждая.

И он упал.

Сначала он ударился плечом о край металлической рамы, а потом рухнул вниз, прямо в одну из открытых ёмкостей с инородной средой. Субстанция была не жидкой, как вода, и не вязкой, как смола, — она была странной, текучей, будто живой. Она сомкнулась над ним, обволакивая, проникая под одежду, в лёгкие, в каждую клетку. Он тонул в ней, чувствуя, как она давит, как заполняет пространство вокруг, как стирает границы между ним и этим чужим веществом. А потом сквозь гул цеха, сквозь крики надсмотрщиков и плеск среды он услышал голос, который не мог принадлежать этому месту:

— Раадушка… любовь моя.

Это был голос Сеи. Тихий, родной, полный нежности и боли. Он звучал не снаружи, а будто прямо в его голове, как воспоминание, ставшее голосом.

…..

Медвежья услуга

Раад выныривал из темноты рывками, будто его дёргали за плечи. Сначала пришло не зрение — оно было мутным, как сквозь запотевшее стекло, — а звук. Низкий, ровный гул, похожий на дыхание огромной машины. Потом добавился запах: стерильный, с горьковатой примесью озона и чего-то металлического.

Он попытался сделать вдох.

И не смог.

Не потому что не хотел — потому что тело не слушалось. Вместо привычного усилия в груди он почувствовал, как где-то глубоко внутри щёлкнуло, потянуло, и воздух вошёл сам — не через горло, а будто сквозь рёбра, сквозь кожу, по невидимым каналам. Это было неестественно, холодно и страшно.

«Не дышит…» — прозвучало над ним. Голос был усталый, равнодушный, будто говорили о сломанном механизме.

«…среда попала в дыхательные. Лёгкие не спасти. И голосовые связки — там вообще каша. Если повезёт, останется только артикуляция, но и то вряд ли».

«Шахтёрское лёгкое» уже стоит. Система магнитов стабилизирована. Главное, чтобы не было отторжения носителя. А голос… ну, речевой транслятор мы поставили. Монотонный, да. Но разборчиво».

Раад хотел закричать. Хотел сказать: «Что вы со мной сделали?!» — но вместо крика из горла вырвался сухой щелчок, похожий на треск разряженного аккумулятора. Он попробовал снова, уже тише, почти шёпотом: «Где я…»

Но и шёпота не получилось.

Вместо этого из груди, из области ключиц, раздался ровный, механический голос — будто кто-то включил запись:

«Где я?»

Монотонно. Без интонации. Без жизни.

Раад замер. Он не узнавал этот голос. Он был его, но чужой. Как если бы кто-то украл его речь и заменил её на безликий текст.

Один из санхоз-сотрудников — в сером комбинезоне, с нашивкой завода и тусклым бейджем — наклонился к нему. Лицо скрывала прозрачная маска.

«Очнулся. Это хорошо. Значит, система держится».

Раад снова попытался что-то сказать. На этот раз он не стал произносить слова — он просто хотел почувствовать, как двигается язык, как смыкаются губы, как рождается звук. Но тело отвечало не ему. Оно отвечало машине.

«Что… со мной?» — прозвучало из транслятора. Всё так же ровно. Без дрожи. Без страха. Хотя страх был. Он разрывал его изнутри.

Санхоз-сотрудник чуть склонил голову, будто прислушивался не к словам, а к чему-то ещё.

«Среда тебя достала. Ты упал в неё. Дальше ты не помнишь. Мы вытащили. Но дышать сам ты больше не сможешь. И говорить… ну, как видишь, теперь это делает за тебя техника. Ты жив. Это главное. По крайней мере, по заводским меркам».

Раад закрыл глаза. В темноте было легче. Там не было этого голоса, не было этих слов. Но когда он снова открыл их, реальность никуда не исчезла. Он лежал в тесном медицинском блоке завода, среди гудящих аппаратов, под взглядами людей, для которых он теперь был не человеком, а объектом с повреждениями, подлежащими ремонту.

И самое страшное было не в том, что он не мог дышать. И даже не в том, что его голос теперь принадлежал машине. Самое страшное было в том, что он вдруг понял: он не знал, хочет ли он вообще оставаться живым в этом новом теле.

Раад замолчал. Перестал дёргаться, перестал пытаться выжать из себя хоть слово. Он просто лежал, глядя в ровный, безжизненный потолок, и будто проваливался внутрь себя — туда, где ещё было что-то настоящее, не прошитое проводами и не продиктованное магнитами.

А над ним, будто в другом мире, продолжали звучать голоса санхоз-сотрудников — спокойные, будничные, до ужаса равнодушные.

«Ну, система держится. Ещё пару циклов — и можно на обслуживание. Главное, чтобы магниты не поплыли…»

«Да тут каждый второй теперь с шахтёрским лёгким. Как конвейер. Только успевай ставить…»

«И ведь ещё повезёт, если без осложнений. А то знаешь, сколько их потом просто списывают? Не выдерживают…»

Один из них хмыкнул:

«А девчонке его, наверное, совсем невесело. Ну, кому нужен такой… материал. С машиной вместо голоса. Да и вообще…»

Слова ударили не как звук — они ударили как ток. Прошли сквозь рёбра, мимо искусственных фильтров, мимо магнитных контуров, прямо в то, что ещё оставалось живым.

И тут память хлынула, как прорванная плотина.

Раад вспомнил.

Вспомнил, как бежала она — тонкая, быстрая, с расстёгнутым воротником защитного костюма, будто пыталась вырваться не только из коридора, но и из самой этой реальности. Вспомнил, как она кричала: «Не смотри! Не смотри туда!» — и как он не послушал. Как шагнул следом, в тот самый проём, где воздух уже был не воздухом, а чем-то густым, маслянистым, живым.

Он вспомнил, что видел: как «среда» текла по стенам, будто искала щели, как она пульсировала в такт далёкому, глухому ритму завода. И главное — что слышал.

Тот голос. Низкий, чужой, будто исходящий из самих стен. Голос Норена: «Пусть падают. Пусть сгорают. Главное — чтобы топливо шло».

И вот теперь эти люди над ним говорили о нём как о материале. Как о чём-то, что нужно обслужить, проверить, списать. Как будто всё, что было до этого — её крик, его шаг, его выбор, — ничего не стоило.

Внутри что-то щёлкнуло. Не механизм. Что-то древнее, горячее, живое.

Раад не закричал — он взорвался.

Не голосом. Не транслятором. Ни тем хрипом, который остался от его горла, ни той ровной, мёртвой интонацией машины. Это был крик изнутри, из самой глубины, из того места, где ещё жила его воля.

Психический импульс ударил, как ударная волна.

Стеклянные панели над койкой треснули и осыпались градом осколков. Аппараты, гудевшие вокруг, один за другим погасли, экраны мигнули и почернели. Санхоз-сотрудники отлетели, будто их швырнуло невидимой рукой, — кто-то врезался в стену, кто-то рухнул на пол, не успев даже вскрикнуть.

Волна шла дальше.

Она рвала провода, срывала панели, гнула металлические балки. Медблок трещал, как картонная коробка под сапогом. Стены дрожали. Завод стонал.

Сквозь этот грохот, сквозь треск искр и скрежет сминаемого металла, Раад выкрикнул её имя. Не монотонно, не механически. Его голос сейчас был не в связках — он был в ярости, в памяти, в боли.

— СЕЯ!

Имя прозвучало не из горла — оно вырвалось из груди, из самого сердца, и пронеслось сквозь рушащийся цех, сквозь гул двигателей, сквозь шёпот «среды», будто пробивая себе путь силой одной только любви и ненависти.

Завод содрогнулся в последний раз и замер. Где-то далеко, в глубине комплекса, что-то взорвалось с глухим, тяжёлым грохотом. И наступила тишина — странная, звенящая, будто мир затаил дыхание.

Раад поднялся. Он стоял посреди развалин медблока, среди обломков, искр и тишины. Его тело держалось на чём-то большем, чем магниты и синтетика. На гневе. На памяти. На обещании.

Норен думал, что сломал его. Думал, что превратил в материал. Но он не знал, что есть вещи, которые не ломаются.

Раад был жив.

И он знал, что будет делать дальше.

……

Где-то на развалинах завода, в паре километров от эпицентра того самого психического удара, Норен очнулся.

Сначала было только ощущение: будто кто-то сжал его грудную клетку и резко отпустил. Потом — боль. Острая, липкая, настоящая. Он пошевелил пальцами, чувствуя, как под кожей натянулись свежие, ещё не до конца зажившие рубцы. Вокруг громоздились обломки: перекошенные балки, оплавленные панели, куски перекрытий, которые ещё недавно были стенами административного крыла.

Но самое главное — он был не под грудой бетона. Он лежал в том самом месте, куда сам, ведомый каким-то слепым, почти животным предчувствием, запросил временный перевод: в цехе военных разработок. И теперь эти руины были для него не ловушкой — они были арсеналом.

Прямо рядом с ним, наполовину погребённый под плитой, мерцал модуль регенерации — экспериментальная установка, созданная на стыке человеческих технологий и подаренных схем квекков. Чуть дальше, в нише, прикрытой листом титана, стояли прототипы экзоскелетов, способных выдерживать прямое попадание плазменного заряда. А в специальном контейнере, чудом уцелевшем при обрушении, хранились образцы нового поколения биосинтетических имплантов — тех самых, что позволяли носителю буквально «переписывать» собственные ткани.

Норен приподнялся, опираясь на локоть, и хрипло рассмеялся. Боль тут же кольнула его в бок, но он не обратил на неё внимания. Он знал, что с этим можно работать.

Между падением Раада в «среду» и этим моментом прошло не больше двенадцати часов. Но за эти двенадцать часов мир успел треснуть. И Норен вдруг понял, что именно Раад — причина всему. Не случайность, не сбой систем, не авария. Именно он. Тот самый мальчишка,

который вечно лез туда, куда не следовало, который верил, что можно кого-то спасти, не заплатив за это кровью.

«Ты думал, что ломаешь систему, — прошептал Норен, глядя на мерцающий модуль регенерации, будто обращался не к себе, а к Рааду, сквозь стены и завалы. — А ты просто дал ей новый вектор».

Он потянулся к модулю, пальцы скользнули по панели управления. Экран вспыхнул тусклым синим светом, принимая отпечаток и сканируя повреждения. Система быстро выдала прогноз: полное восстановление тканей — за три часа. Усиление костной структуры и мышечного каркаса — ещё два. И это было только начало.

Норен не просто собирался выжить. Он собирался стать тем, кого нельзя сломать. Тем, кто не нуждается в чужом топливе, в чужих технологиях, в чужой жалости. Он станет тем, кто сам диктует правила. И первым, кого он найдёт, будет Раад.

С трудом, но уверенно, Норен поднялся на ноги. Вокруг него, среди обломков, тихо просыпались механизмы — прототипы, датчики, системы наведения. Они словно чувствовали его намерение и откликались на него, как будто ждали именно этого момента.

Он сделал первый шаг, и плита, нависшая над ним, с грохотом рухнула, освобождая проход. В воздухе закружились искры, пыль и запах озона. Норен остановился на мгновение, вдыхая этот запах разрушения — и улыбнулся.

Охота началась.

…….

Время не лечит.

Пламя лизало сухие ветки, выплёвывая в тёмное небо рыжие искры, и отбрасывало дрожащие тени на лица детей. Они сидели, прижавшись друг к другу, будто так можно было укрыться не только от ночного холода, но и от тяжести чужих слов.

Старик — духовник монастыря, человек, который столько лет учил их не бояться тьмы, потому что свет живёт не снаружи, а внутри, — медленно повёл взглядом по кругу, задерживаясь на каждом лице, словно благословляя их одним этим вниманием. Его голос звучал не как рассказ, а как молитва, в которой правда была важнее утешения.

— Десять лет прошло с момента самого большого взрыва на транспортировочном заводе инородного топлива, — произнёс он тихо, но так, что даже самый маленький ребёнок слышал каждое слово, будто оно падало в тишину, как камень в спокойную воду. — Десять лет после этого люди не знали покоя. «Среда» вышла из-под контроля, и в этом есть свой горький урок: когда мы пытаемся подчинить себе силу, не понимая её природы, она начинает диктовать свои правила. Сначала она ползла по трубам и вентиляции, потом по улицам, потом по самой земле. Она меняла всё, к чему прикасалась. Мутации флоры и фауны дошли до своего исторического максимума — и это не просто перемена облика, дети мои. Это напоминание о том, как хрупок баланс, на котором держится жизнь.

Дети вздрагивали от треска сучка в темноте, но теперь в их страхе было не только отчаяние — в нём сквозило и что-то похожее на внимание, будто они впервые по-настоящему пытались услышать не только звуки, но и смысл.

Духовник опустил взгляд к огню, будто в языках пламени видел не просто тепло, а отголоски давних решений, за которые теперь приходилось платить.

— Не помог даже массивный саркофаг, который чужие, пользуясь трудом наёмников-людей, возвели вокруг аварии. Они думали, что смогут заключить беду в камень и металл, как заключают демона в печать. Но зло, рождённое из гордыни и жадности, не удерживается стенами. Оно ищет щели. Или, может быть, сами стены становятся его голосом. Теперь саркофаг стоит там, чёрный, как зуб в десне, и из его трещин по ночам сочится тусклое свечение. И никто не знает, что хуже — то, что было до него, или то, что стало после.

Он снова обвёл взглядом круг, и на этот раз в его глазах было не только знание, но и просьба: слушать не ушами, а сердцем.

— Теперь мы — кучка беженцев, воспитанники монастыря, последние уцелевшие. Мы не знаем, как жили раньше, но знаем, как живём сейчас: в бегах, в полутьме, в ожидании, что за следующим поворотом нас встретит что-то новое и страшное. И наша единственная надежда — покинуть зону, выбраться с континента по воде. Говорят, там, за морем, ещё есть места, где земля не дышит ядом. Но я верю не только в то, что там земля чище. Я верю, что там ещё помнят: сила — не в том, чтобы ломать, а в том, чтобы беречь.

Духовник чуть наклонился вперёд, и пламя на секунду высветило глубокие морщины у его глаз — шрамы не тела, а долгих раздумий и бессонных ночей. Он протянул руку не к детям, а в сторону, туда, где в тени, почти сливаясь с темнотой, сидел молчаливый странник. Тот, кто был заметно старше остальных, но не по годам — по тяжести, которую нёс на плечах.

— Спасибо тебе, молчаливый странник, — тихо, но твёрдо произнёс духовник, и в его голосе прозвучала не просто благодарность, а признание, почти как благословение. — Ты помогаешь нам в этом долгом и опасном пути. Без тебя мы бы уже сгинули в какой-нибудь расщелине или под лапой того, что раньше было оленем, а теперь смотрит на нас чужими глазами. Ты не говоришь много, но в твоём молчании есть сила, которая держит нас на ногах.

Раад не шевельнулся. Он не опустил взгляд, не кивнул, не попытался сказать что-то в ответ. Он просто сидел, прямой, будто внутри него была стальная ось, которая не давала ему согнуться под тяжестью этих слов. Его лицо оставалось в полутени, и только иногда отсвет огня скользил по скуле, по старому шраму, по линии сжатой челюсти.

Где-то далеко, за пределами круга света, что-то скреблось по камню. Дети вздрогнули, прижались друг к другу плотнее. Духовник лишь чуть приподнял бровь, будто привыкая к этому звуку, как привыкают к ветру, который всегда дует с одной стороны.

— Он не много говорит, — добавил духовник, будто оправдывая молчание Раада перед детьми, но на самом деле защищая его право на эту тишину, — но когда нужно — он делает. И этого достаточно. В мире, где слова стали пылью, поступки — единственная правда.

Один из мальчиков, самый смелый или самый отчаянный, тихо спросил:

— А он… он был там? На заводе? Когда всё взорвалось?

Духовник медленно покачал головой:

— Я не знаю, дитя моё. Он никогда не рассказывал. Но я знаю другое: он видел то, чего нам лучше не видеть. И он помнит то, что мы стараемся забыть. А иногда память — это тоже служение. Не для того, чтобы терзать себя, а для того, чтобы не дать другим пройти через то же самое.

Раад чуть повернул голову — совсем немного, так, что это заметил только духовник. В его глазах на мгновение вспыхнуло что-то, похожее на тень воспоминания: не слова, не картины, а ощущение — холод, тяжесть, имя, которое он носил внутри, как камень. Сея.

Но он не произнёс его. Не сейчас. Не здесь.

Вместо этого он медленно поднялся, бесшумно, как тень, и сделал шаг к краю света, туда, где начиналась тьма. Его рука легла на рукоять оружия, которое не сверкало, а скорее сливалось с тенью.

— Ещё рано спать, — тихо сказал он. Голос его был не тем, что когда-то принадлежал ему, но и не бездушным гулом транслятора. Это был голос человека, который научился говорить сквозь металл и боль. — Там что-то движется. И оно идёт не мимо.

Дети замерли, будто превратились в маленькие каменные изваяния. Духовник тяжело вздохнул, но в его взгляде мелькнуло облегчение — не от того, что опасность близко, а от того, что рядом есть тот, кто встанет между ней и ними.

Раад стоял на границе света и тьмы, и казалось, что сама ночь прислушивается к нему. Не потому что он был самым сильным. А потому что он был тем, кто уже однажды прошёл сквозь ад — и вернулся не для того, чтобы прятаться, а чтобы не дать этому аду дотянуться до других.

Огонь не просто грел — он был частью обряда. В этом мире, где привычные ориентиры рассыпались в пыль, такие вечера стали чем-то вроде якоря: пока слова шли по кругу, пока каждый тихо вспоминал, что уцелело из прошлого, люди оставались собой. Не просто беженцами, бегущими от тьмы, а общиной, у которой есть память и есть надежда.

Для воспитанников монастыря это был свой Новый год — не по календарю, а по вехам пути: сколько дней шли, сколько раз тьма подступала вплотную и отступала, сколько имён удалось не забыть. Они не поднимали бокалов и не кричали поздравлений. Они сидели у костра, слушали духовника и шептали про себя то, что боялись произнести вслух: «Мы ещё здесь. Мы ещё идём».

И рассказ старика — духовника — был не просто воспоминанием. Это была ритуальная нить, которая связывала их всех. Он говорил не для того, чтобы напугать детей, и не ради красивой истории. Он произносил эти слова, как читают оберег: чтобы тьма услышала и поняла — здесь есть те, кто помнит, кто различает добро и зло, кто не сдался. В его интонациях, в паузах между фразами, в том, как он задерживал взгляд на каждом лице, сквозило древнее знание: слово может быть щитом.

— Десять лет прошло с момента самого большого взрыва, — повторил духовник, будто закрепляя эту дату в воздухе, как печать. — Десять лет мы несём эту память, потому что, если забудем, тьма получит ещё одно оружие. Она питается забвением.

Дети кивали, не столько понимая все слова, сколько чувствуя их вес. Для них это было похоже на молитву, которую повторяют, чтобы не потерять дорогу в темноте.

Когда духовник закончил, наступила особая тишина — не пустая, а наполненная. Каждый словно держал в руках свою маленькую часть этой общей истории: кто-то вспоминал запах монастырской кухни, кто-то — голос матери, кто-то — первую ночь, когда понял, что мир стал другим. И в этой тишине они строили планы. Не громкие, не героические, а самые простые и самые важные: пройти завтра ещё несколько километров, не потерять друг друга в тумане, сберечь последние фильтры для воды, не дать страху сковать руки, когда придёт время действовать.

А Раад не строил планов вслух. Он вообще почти не участвовал в этом круге слов. Но именно его присутствие делало ритуал крепче. Для детей он был чем-то вроде живого знака: если он здесь, значит, есть сила, способная удержать ночь на расстоянии.

План Раада был один. Выжить. И вернуть Сею.

Это не было мечтой, которую лелеют в тишине. Это была ось, вокруг которой вращалось всё его существование. Даже его молчание было частью этого плана: лишние слова тратили силы, а силы нужны были для главного. Он не позволял себе думать о том, возможно ли это. Он просто держал это имя внутри, как компас, который всегда показывает на север, даже если небо затянуто тучами.

Сейчас, слушая духовника, Раад не смотрел в огонь. Он смотрел туда, где свет заканчивался и начиналась тьма. Его пальцы чуть сжимались и разжимались, привыкая к весу оружия. Он отмечал звуки: треск ветки, шорох ветра, далёкий, неестественный скрежет, который не принадлежал ни зверю, ни буре. Он слушал не ушами — он слушал всем телом, каждой клеткой, которую когда-то обожгла «среда». И это тело помнило опасность раньше, чем разум успевал её назвать.

Когда он поднялся, никто не удивился. Это было так же естественно, как то, что ночь следует за днём.

— Там что-то движется, — снова произнёс он, и его механический голос, лишённый интонаций, прозвучал в этой ритуальной тишине почти как пророчество. — И оно идёт не мимо.

Духовник медленно кивнул, будто это было частью того самого обряда: тьма приходит, и кто-то должен выйти ей навстречу.

— Иди, — тихо сказал он, не приказывая, а благословляя. — Мы будем здесь. Мы будем ждать. И мы будем помнить, зачем ты идёшь.

Раад шагнул в темноту, и круг света чуть сжался, будто неохотно отпуская его. Дети придвинулись ближе к огню, плотнее сбились в кучу. А духовник, глядя ему вслед, тихо произнёс фразу, которую повторяли в монастыре веками:

— Пусть его путь будет прямым, а сердце — крепким.

Слова растворились в ночном воздухе, но Раад их не слышал. Ему не нужны были благословения, чтобы делать то, что он должен. Ему нужно было только одно: выжить ещё одну ночь. Ещё один день. Ещё один час. Потому что пока он жив, план остаётся в силе. Пока он жив, надежда на то, что Сея ещё ждёт, ещё дышит, ещё где-то там, не превращается в пепел.

…….

К утру Раад вышел на болотистую мёртвую поляну.

Здесь даже воздух будто застыл. Не было ветра — только тяжёлая, вязкая тишина, в которой каждый шаг отдавался глухим хлюпаньем в пропитанной «средой» почве. Трава, когда-то зелёная, теперь лежала чёрными спутанными космами, будто выгоревшими изнутри. Вода в низинах не рябила — она стояла неподвижно, маслянисто поблескивая, как застывшее стекло. Всё вокруг было мёртвым, но не спокойным: эта тишина казалась насторожённой, будто сама земля ждала, что произойдёт дальше.

Раад остановился, вглядываясь в горизонт, где серое небо сливалось с серой землёй. Он не оглядывался. Не потому что не хотел — потому что знал: если посмотрит назад, если на секунду позволит себе вспомнить круг у костра, прижавшихся друг к другу детей, усталое, но твёрдое лицо духовника, — что-то внутри дрогнет. А дрожать сейчас было нельзя.

В былые времена, ещё до взрыва, старый Раад этого бы не сделал. Старый Раад вернулся бы к ним, сел у огня, слушал бы тихий голос духовника, улыбался бы, когда дети, осмелев, начинали задавать вопросы, и думал бы, что смысл жизни — в том, чтобы защищать слабых, беречь тепло, не давать тьме забрать ни одного лишнего вздоха.

Новый Раад был другим. «Среда» не просто изменила его тело — она перекалила волю. Она научила его видеть не лица, а векторы. Не эмоции, а последствия. Он стал жёстче, могущественнее — и, как ни странно, справедливее. Потому что теперь он не тратил силы на иллюзии. Он знал цену каждому шагу и не обещал того, чего не мог выполнить.

Дети выживут. Не все — он не обманывал себя. Закон силы в этом новом мире был прост и жесток: выживают те, кто способен выдержать удар, кто умеет подниматься, кто не ломается под тяжестью выбора. И среди них, среди этих испуганных, но упрямых ребят, вырастет новое поколение — такое, какое сможет удержать этот мир, когда старые опоры окончательно рухнут.

Духовник был стар. Его дни были сочтены, и Раад это видел. Не по морщинам и не по седине — по тому, как ровно, без суеты, он принимал каждую ночь, будто знал: следующая может стать последней. Но именно в этой спокойной готовности была его сила. Он держал их всех не приказами и не властью, а словом, которое звучало как оберег. Раад был благодарен ему. Благодарен за то, что рядом с ним, среди руин и страха, он на секунду снова чувствовал себя человеком — не механизмом, не оружием, не носителем разрушительной силы, а тем, кто помнит, как важно просто быть рядом.

Но на этом всё. Их пути разошлись.

Не из обиды, не из презрения, не из равнодушия. Просто потому, что у каждого была своя задача, и смешивать их было бы несправедливо. Духовник должен был остаться с детьми

— держать круг света. А Раад должен был идти туда, где свет не доставал, где тьма была гуще, где каждый шаг мог стать последним.

И сожаления не было. Не потому что он очерствел. А потому что сожаление — это роскошь, которую он больше не мог себе позволить. Сожалеть означало сомневаться. А сомневаться сейчас значило подставить под удар тех, кого он уже не мог защитить напрямую.

Он глубоко вдохнул — не грудью, а всей системой «шахтёрского лёгкого», чувствуя, как магниты внутри мягко тянут воздух, как металл и плоть сплетаются в едином ритме. Этот вдох был не человеческим, но он был его. И этого было достаточно.

Перед ним расстилалась мёртвая поляна, и за ней, в серой дымке, угадывались очертания старого транспортного узла — того самого, где когда-то перегружали инородное топливо. Там, по слухам, ещё оставались следы тех событий, когда всё пошло не так. Там могли быть зацепки. Или ловушки. Или смерть.

Раад шагнул вперёд. Его ботинки погружались в вязкую почву, но он не замедлялся. Каждый шаг был утверждением: он жив. Он идёт. Он помнит.

План оставался прежним. Выжить. И вернуть Сею.

Она по-прежнему звала его. Во снах, где не было ни времени, ни пространства, только её голос — настоящий, живой, без помех и искажений. В пылу сражений, когда психический импульс рвал воздух и металл, он на долю секунды слышал её сквозь грохот — как будто она кричала ему: «Не становись этим!» В мраке ночи, когда даже искры казались слишком яркими, её шёпот цеплялся за края его сознания, не давая окончательно превратиться в чистое действие, в инструмент.

Но с каждым днём зов становился тише. Не потому что она сдавалась. А потому что её сил становилось меньше.

Раад не верил в совпадения. Он верил в связи. В цепи. В то, как одно тянет другое. И он начал понимать страшную, холодную правду: он становился сильнее не просто так. Не только из-за технологий «среды», не только из-за имплантов и магнитов, перестраивающих его тело. Сила приходила к нему оттуда же, откуда и сама «среда» — из того места, которое он теперь мысленно называл загробным царством. И Сея была там.

Он подозревал, что она каким-то странным образом питает его. Не как топливо, не как батарейка. Скорее как якорь. Как источник, из которого происходили и технологии, и сама «среда», и те, кто ею управлял. И чем больше он брал этой силы, тем тоньше становилась её нить. Чем мощнее становились его импульсы, тем тише звучал её голос. Это была не щедрость — это был обмен, о котором он не просил, но который уже шёл.

И она там была не одна. Многие оказались помещены туда.

В это пространство, откуда пришли чужие — новые хозяева жизни, которые называли себя «Купцами Великого Ковчега», а люди за глаза звали их квекками. Они не завоёвывали. Они покупали. Покупали ресурсы, технологии, время, судьбы. И, возможно, купили и саму возможность черпать силу из этого места, привязывая к нему чужие жизни. Сея стала частью этой схемы. Её затянуло туда, и оно не отпускало. Оно держало её, как держат резерв, на случай, если основной источник иссякнет.

Именно туда теперь лежал его путь. Не просто к руинам завода. Не просто к транспортному узлу, где когда-то перегружали инородное топливо. А глубже. К самому истоку. Туда, где «среда» не была побочным эффектом или аварией, а самой сутью . Где Купцы Завета не прятались за договорами и наёмниками, а стояли лицом к лицу с тем, что создали.

Мысль оборвалась, как перерезанная струна. Раад замер, не потому что услышал шаги — он их не слышал. Он почувствовал.

С севера тянулся смрадный след — не запах, а само ощущение чего-то гнилого, разъедающего пространство. След племени головорезов Норена Зарма. Тех самых, что рыскали по окрестностям, как псы, вынюхивая не просто еду и укрытия, а души и энергию. Они не грабили

ради припасов — они собирали «ресурс»: живых, сломленных, тех, в ком ещё теплилось хоть немного силы, которую можно было выкачать и продать.

Норен теперь не был просто надзирателем с завода. Он стал тираном, работорговцем, тварью, которая не просто знала о связи «среды» и смерти — он открыто эксплуатировал эту связь. Он понял то, до чего другие боялись даже додумывать: чем больше боли, страха, отчаяния в человеке, тем лучше «среда» его перерабатывает, тем чище получается энергия, которую потом можно продавать Купцам Завета. Норен не прятался от системы — он стал её самым эффективным винтом.

И самое страшное было в том, что его сила теперь действительно не уступала силе Раада. Не потому что он был лучше или чище. А потому что он не гнушался ничем. Он брал эту силу из чужих страданий, из криков, из сломанных судеб, и она делала его тяжёлым, вязким, почти неуязвимым. Сражаться с ним в лоб означало подпитывать его же источник.

Раад медленно опустил руку с рукояти. Перед ним расстилалась мёртвая поляна, а где-то там, за горизонтом, пульсировало присутствие Норена — как тяжёлое, маслянистое пятно на ткани мира. И вдруг в голове Раада сложилась мысль, холодная и страшная, но единственно верная: к нему нужно было попасть. Пусть даже в плен.

Не как жертва. Как остриё.

Если Норен питается чужими страданиями, значит, внутри его лагеря будет самый сильный резонанс с той самой силой, что связывает Раада и Сею. Там, среди криков и боли, среди механизмов, выкачивающих энергию из людей, этот сигнал будет громче всего. И если где-то и можно найти точку входа в то самое «загробное царство», где держат Сею, то именно там — в самом сердце тьмы, которую создал Норен.

Рааду не хотелось прятаться. В нём клокотала ярость, холодная и острая, как лезвие. Ему хотелось выйти навстречу, ударить первым, снести эту свору одним импульсом — чтобы земля дрогнула, а воздух стал свинцовым. Но он сдержал этот порыв. Потому что знал: если сейчас он обрушит силу, Норен почувствует это за километры. А Рааду нужно было не просто выжить в стычке с шестёрками — ему нужно было дойти до самого центра, туда, где сидит паук.

Поэтому он заставил себя остановиться. Заставил мысли стать гладкими, без углов. И подумал, не как заклинание, а как факт, как закон физики:

«Я невидим. Я неосязаем. Меня здесь нет».

Это не была магия. Это была новая природа его силы — та, что пришла вместе с «средой». Она позволяла ему не просто бить, но и растворяться. Не исчезать физически — тело оставалось на месте, ботинки по-прежнему вдавливались в мёртвую почву, — но становиться для чужих чувств пустым местом. Его запах гас. Тепло тела переставало быть сигналом. Даже вибрация шагов, казалось, оседала в земле, не поднимаясь в воздух.

Он присел, почти слившись с рельефом, и позволил болоту принять его. Тень легла на плечо, как старый друг. И он замер.

Через четверть часа мёртвая поляна приняла гостей.

Псы Норена. Только это были не звери. Это были люди, опустившиеся так низко, что само слово «человек» к ним уже не подходило. Те, кто добровольно отдал свою совесть за право быть ближе к силе. Те, кто научился получать удовольствие от чужой боли, потому что это был единственный способ почувствовать себя живыми в этом мёртвом мире.

Они шли по следам своих жертв — упорно, кровожадно, с той особой целеустремлённостью, которая бывает только у тех, кто давно перестал видеть в других людей. Их лица прятались за пластинами масок химзащиты, но не для того, чтобы защититься от «среды». А чтобы скрыть от света тьму и ненависть, которые теперь жили у них под кожей. В эти отряды не попадали просто так. Туда шли те, кто уже всё потерял — и потому ничего не боялся.

Десяток бойцов вышел на поляну, пригнувшись к земле, будто сами они были хищниками, а не охотниками. Они двигались по спирали, расширяя круг, окружая то место, где

совсем недавно стоял Раад. Окружали, не зная, что он здесь. Не видя его. Не чувствуя. Не ведая своей смерти.

Их речь была грубой, отрывистой, как удары кнута.

— Здесь след свежий, — прохрипел один, тыкая пальцем в землю. — Ещё тёплый. Кто-то прошёл. Может, стая монахов. Или одиночка.

— Да какая разница, — фыркнул другой, поправляя ремень с кобурой. — Главное, чтоб живой был. Господин любит, когда они ещё кричат.

Они славили режим своего господина, хвалились своими зверствами, перебрасывались историями, от которых даже воздух становился тяжелее. Рассказывали, как ловили беглецов в туннелях, как выжимали из них последние капли силы, как Норен лично оценивал «качество» добычи и награждал тех, кто приносил лучший «урожай».

Третий, самый высокий, наклонился, будто принюхиваясь к воздуху, хотя за маской он ничего не мог учуять. Но ему нравилось играть в зверя.

— Я чую страх, — протянул он, растягивая слова, как удовольствие. — Он тут висит, как пар над болотом. Сладкий такой, густой. Знаешь, как пахнет, когда человек понимает, что выхода нет?

— Знаю, — кивнул первый, и в его голосе не было ни злобы, ни веселья — только скука профессионала. — Особенно если он думает, что ещё может торговаться. «Я отдам вам припасы. Я покажу тайный ход. Только не трогайте». А потом, когда понимает, что мы не за припасами… вот тогда запах меняется.

Они переглянулись за мутными стёклами, и этот обмен взглядами был страшнее любого крика.

— В прошлый раз девчонка из туннелей всё просила: «Я ничего не знаю, я просто жила». А мы и не спрашивали, — сказал третий, будто вспоминая приятный ужин. — Мы просто взяли. И господин сказал: хороший «урожай». Чистый. В ней ещё было столько… жизни.

Раад не шевелился. Его «шахтёрское лёгкое» работало ровно, магниты внутри мягко тянули воздух, не давая телу выдать себя даже дрожью. Он слушал. Он запоминал. Каждое слово, каждую интонацию, каждый выдох.

Но слова не оставались просто словами. Они били не по ушам — они били по памяти. По тому, что он похоронил под слоями металла и силы. По тому, что ещё оставалось живым.

Один из них, самый молодой, почти мальчишка, но уже с глазами садиста, вдруг оживился:

— А помните, как на старом перекрёстке мы нашли ту семью? Отец пытался нас отвлечь, говорил, что у него есть карта. А мать прижимала детей к себе, будто могла их спрятать. Мы не стали слушать. Мы просто… забрали.

— И правильно сделали, — отрезал старший, тот, что стоял ближе всех к Рааду, всего в трёх шагах. — Господин говорит: жалость — это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Слабых надо забирать, пока они ещё тёплые. Пока в них есть сила.

Молодой кивнул, будто гордился этим уроком:

— А потом господин лично проверил «урожай». Сказал, что эта семья дала хороший заряд. Почти как чистый кристалл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.